



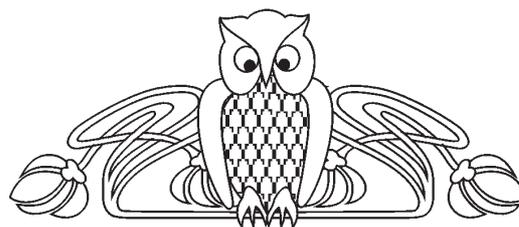
- <sup>14</sup> Эренбург И. Необычайные похождения. СПб., 2001. С. 464.
- <sup>15</sup> Там же. С. 465.
- <sup>16</sup> См.: Пономарева Е. Указ. соч. С. 116.
- <sup>17</sup> Эренбург И. Необычайные похождения. С. 525.
- <sup>18</sup> Для наказания мне этот назначен край (лат.)
- <sup>19</sup> Эренбург И. Письма. 1908–1930 // Эренбург И. Письма : в 2 т. Т. 1 : 1908–1930. «Дай оглянуться...») М., 2004. С. 223.
- <sup>20</sup> Николаев Д. Русская проза 1920–1930-х гг. М., 2004. С. 124.
- <sup>21</sup> Чичерин А., Сельвинский Э. Клятвенная конструкция конструктивистов-поэтов // Литературные манифесты. От символизма до «Октября». М., 2001. С. 325.
- <sup>22</sup> Эренбург И. Необычайные похождения. С. 506.

**Образец для цитирования:**

Федерякин А. Ю. Жанрово-стилистические особенности цикла И. Г. Эренбурга «Шесть повестей о легких концах» // Изв. Саратов. ун-та. Нов. сер. Сер. Филология. Журналистика. 2016. Т. 16, вып. 4. С. 416–421. DOI: 10.18500/1817-7115-2016-16-4-416-421.

УДК 821.161.1.09-1+929Мандельштам

## СТИХИ О ЩЕГЛЕ И ИХ МЕСТО ВО «ВТОРОЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ТЕТРАДИ» МАНДЕЛЬШТАМА. Статья вторая



Б. А. Минц

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского  
E-mail: bella-mints7@yandex.ru

Статья является продолжением первой и посвящена месту несобранного «щеглиного» цикла в структуре «Второй воронежской тетради». Показаны иерархия циклов, их разнообразные типы, формы циклических связей. Выявлены внутренние сюжетные линии, образно-мотивные комплексы «Второй воронежской тетради» и другие проявления её целостности.

**Ключевые слова:** цикл, автограф, вариации, семантический субстрат, ритмико-метрические волны, вариативность, коннотации.

### Poems of Goldfinch and Their Place in Mandelstam's Second Voronezh Notebook. Article two

В. А. Mintz

The article is the continuation of the first one and is devoted to the place of uncollected 'goldfinch' cycle in the structure of *Second Voronezh Notebook*. The article shows the hierarchy of cycles, their various types and forms of cyclic relationships. Inner story lines, imagery and motive complexes of the *Second Voronezh notebook* and other manifestations of its integrity are revealed.

**Key words:** cycle, autograph, variation, semantic substrate, rhythmic-metrical waves, variability, connotations.

DOI: 10.18500/1817-7115-2016-16-4-421-428

(Окончание. Начало см. 2016. Т. 16, вып. 3.  
С. 294–301)

В первой статье, посвящённой мандельштамовским стихам 1936 г. о щегле, был проведён анализ черновой редакции, который позволил выявить пути создания характерного для позднего

Мандельштама лирического единства, а именно открытой, лишённой жёстких рамок циклической структуры с незакреплённой композицией и составом. Подобный «цикл» по природе своей сопротивляется затвердению, ибо отличается избыточностью и вариативностью, присущими зрелой лирике Мандельштама. Рукопись, комбинирующая список и автограф<sup>1</sup>, бросает свет на имплицитные смыслы стихов о щегле, в частности, на христианский подтекст (легенда о связи красного пятнышка в оперении щегла с кровью Спасителя от тернового венца) и семантику гибели (образы «красного снега» и «красных сугробов» в черновике – возможно, ассоциация с гибелью Пушкина и метафора смерти Поэта). Сокровенная для Мандельштама тема уничтожения и жертвенности как важнейшая часть его понимания искусства и назначения художника здесь глубоко спрятана. После раннего эссе «Пушкин и Скрябин» она, в частности, находит отражение в мотивах тайной вечера и Голгофы в воронежских стихах. Были также прослежены связи некоторых текстов «Второй воронежской тетради» («Рождение улыбки», «Не у меня, не у тебя – у них...»), «Улыбнись, ягнёнок гневный...», «Я в львиный ров как в крепость погружён...») и «цикла» о щегле, проявленные на уровне лексики, образного строя, поэтической концепции и свидетельствующие о единстве поэтического периода.

В данной работе мы продолжим выявление тех художественных феноменов, которые придают «Второй воронежской тетради» (декабрь 1936 – февраль 1937) целостность, обнажают уникальный узор межтекстовых связей, органическую иерархию, потаённый нерв. Избрана вполне определённая точка зрения, поэтому всё



это рассматривается именно сквозь призму стихов о щегле, казалось бы, ясных и непритязательных. Такой ракурс позволяет за очевидным увидеть потаённый смысл, раскрывающийся в надтекстовом и подтекстовом пространстве, а стихотворения «на случай» вписать в магистральные линии того отрезка пути, который запечатлён в центральной части воронежского «триптиха». Однако вначале целесообразно дать некоторое представление о стихах зимы 1936–1937 гг. как о целом, увиденном с разных точек обзора.

Общий анализ «Второй воронежской тетради» был предпринят Дженифер Бейнс, которая предпослала последовательному разбору ключевых текстов преамбулу. По её словам, «Вторая воронежская тетрадь» включает «самые бодрые и дерзкие стихи за время его (Мандельштама. – Б. М.) ссылки, отмеченные свободой от принуждения в наиболее апокалиптический момент русской истории»<sup>2</sup>. Интенсивность в обращении к внутренним духовным ресурсам, по мнению Дж. Бейнс, объясняется ухудшением политической ситуации, личных обстоятельств Мандельштама (болезнь, изоляция, травля, нищета) и монотонностью воронежского зимнего ландшафта. На деле такая общая оценка не отражает ни драматичных попыток примирения с советским миром и вождём, ни противоречивости, присутствующей даже в самых свободных произведениях этого периода.

Анализ обширного сегмента структуры «Второй воронежской тетради» сделан М. Л. Гаспаровым в специфическом ракурсе – с вершины так называемой сталинской «Оды» («Когда б я уголь взял для высшей похвалы...», январь–март 1937) и порождённого ею цикла<sup>3</sup>. От интерпретации «Оды», несомненно, зависит и взгляд на другие воронежские стихи. Это не вошедшее в основной состав «тетради» стихотворение, по мнению Н. Я. Мандельштам, является «маткой» большого цикла<sup>4</sup>, но в ретроспективном прочтении оно может восприниматься как некий «магический кристалл», генерирующий важнейшие элементы подтекста всей «Второй воронежской тетради». Однако взглянуть на это лирическое единство можно и в перспективе начального «щеглиного» цикла, ведущими нотами которого Н. Я. Мандельштам называла «обострённую жажду жизни» и «предчувствие беды»<sup>5</sup>. На одной волне «блаженное, бессмысленное слово» о пёстрой птичке, неуловимых тайнах природной жизни и поразительное в данных обстоятельствах жизнелюбие поэта («Ода» ещё не написана, роковая черта маячит впереди), а на другой, если угодно, встречной, волне – попытка примирения с вождём, надежда на спасение и монументальная образность чуждого Мандельштаму застывшего начала, то в мифопоэтической архаике, то в ключе новейшей сталинской мифологии<sup>6</sup>: «Внутри горы бездействует кумир», «Он мыслит костию и чувствует челом // И вспомнить силится свой облик

человечий» (III, 101)<sup>7</sup> – «Он свесился с трибуны, как с горы, // В бугры голов» (III, 113), «Глазами Сталина раздвинута гора» (III, 114)<sup>8</sup>.

«Ода» – вызов исследователям. Они дают не просто разные, но часто противоположные трактовки. «Ода», очевидно, чемпион по амбивалентности, и отчасти это отражает её генетическую природу (т. е. характер мироощущения поэта в этот период), а отчасти разницу в установках исследователей. Н. Я. Мандельштам противопоставляет «Оду» как «насильственное» стихотворение свободным стихам того же периода, утверждая, что их борец решало судьбоносный вопрос – сумеет ли Мандельштам задушить собственную поэзию<sup>9</sup>. М. Л. Гаспаров придерживается противоположного мнения, утверждая, что «стихотворения этого цикла подготавливают или развивают мотивы “Оды” в едином с нею направлении»<sup>10</sup>, т. е. в направлении искреннего, глубокого приятия Сталина как народного вождя, что было невозможно для поэта без чувства вины и раскаяния. Сама «Ода» некоторыми авторами трактуется как зашифрованное поношение, или сатира, портрет жуткого inferнального существа<sup>11</sup>, как поэтическая версия Апокалипсиса<sup>12</sup>. Интересны попытки интерпретации стихотворения в мифопоэтическом ключе, приводящие к выявлению вариаций близнецных мифов<sup>13</sup>, традиционной оппозиции отца и сына<sup>14</sup>, Бога-отца и Христа<sup>15</sup>, «века-властелина» и «старейшего сына» (II, 50), а в другом разрезе – Зевса и Прометея<sup>16</sup>. При этом некоторые мифологические роли (например роль Прометея) приписываются обоим героям оппозиции. Существует идея двоения образа Сталина и всей оценочной структуры стихотворения<sup>17</sup>, ставшего, по словам И. Бродского, и одой, и сатирой одновременно<sup>18</sup>. Идея двоения представляется наиболее плодотворной. Другой вопрос – использует ли Мандельштам сознательно специальные поэтические средства для достижения такого эффекта двусмысленности или это является непроизвольным результатом двойственности его позиции. А. Г. Мец приводит пример, когда, работая над стихотворением 1935 г. «Мир начинался страшен и велик...», где также речь идёт о Сталине, Мандельштам едва ли не углубил двусмысленность в поздней редакции по сравнению с ранней<sup>19</sup>: 1) «Привет тебе, *скрепитель добровольный* / Трудящихся, твой *каменноугольный* / Могучий мозг, гори, гори стране!» (III, 91); 2) «Привет тебе, *скрепитель дальнзоркий* / Трудящихся. Твой *угольный, твой горький* / Могучий мозг, гори, гори стране!» (III, 335). По словам Я. Я. Рогинского, «прочитав это стихотворение, Мандельштам сказал, что его не удовлетворяет похожесть на Пушкина»<sup>20</sup>, имея в виду слова из «Медного всадника» «Добро, *строитель чудотворный!*.. Ужо тебе!..»<sup>21</sup>. Однако эта реминисценция, если и была непроизвольной, то отражала близость поэтической концепции «Медного всадника» Мандельштаму. Не исклю-



чено, что влияние пушкинской историософии ощущается и в «Оде». Сразу вспоминаются «Петербургские строфы» (1913), где лирический субъект идентифицирует себя с «чудаком Евгением»: «Чудак Евгений – бедности стыдится, / Бензин вдыхает и судьбу клянёт!» (I, 82). Но в «Оде» всё намного сложнее и страшнее, чем в раннем стихотворении. Кроме того, одическая традиция ориентирована на мир идеальный, на утопические представления, даже если предположить, что это и панегирик, и хула, а утопия оборачивается антиутопией, или речь идёт о срастании утопии и антиутопии по образцу платоновских романов. Не берёмся делать здесь какие-либо заключения, однако пройти мимо этого нависающего над трудами и днями Мандельштама зимой 1936–1937 гг. замысла невозможно. «Ода» выглядит неким полюсом песенке о щегле, кажущейся на этом монументальном фоне легкомысленной. То, что это не так, не нуждается в доказательствах, но не отменяет необходимости анализа уникальных сцеплений и на уровне образной системы, и на уровне системы лирических текстов.

Об ассоциативных связях лирических текстов «Второй воронежской тетради» сигнализируют вариации мотивов, специфических словесно-образных комбинаций (подчас отброшенных поэтом в поздних редакциях). К примерам, приведённым в первой статье<sup>22</sup>, можно добавить следующие:

1) «приливы и отливы» («Не у меня, не у тебя – у них...», 9–27 декабря 1936, и «Внутри горы бездействует кумир...», 10–26 декабря 1936); 2) «и радужный уже строчится шов» (III, 100) («Рождение улыбки», 8 декабря 1936–17 января 1937) – «его индийской радугой кормили» (III, 101) («Внутри горы бездействует кумир...», 10–26 декабря 1936) – «Он глядит уже покорно / В мимолётные века – / Светлый, радужный, бесплотный, / Умоляющий пока» (III, 107) («Твой зрачок в небесной корке...», 2 января 1937); «И собирался плыть, и плывал по дуге / Неначинающихся путешествий» (III, 111) («Не сравнивай: живущий несравним...», 18 января 1937); 3) «Длинней товарных поездов, / Гуди за власть ночных трудов... Гуди протяжно в глубь веков, Гудок советских городов» (III, 99 – 100) («Из-за домов, из-за лесов...», 6–9 декабря 1936) – «В гуще воздуха степного / Переключка поездов / Да украинская мова / Их растянутых гудков» (III, 105) («Эта область в темноводье...», 23–27 декабря 1936); 4) «Ночлеги, ночи, ночи – / Как бы слепых везут» (III, 109) («Я около Кольцова...», 9 января 1937) – «Сам себе немил, неведом – / И слепой и поводырь...» («Дрожжи мира дорогие...», 12–15 января 1937); 5) «И сладкогласный труд безгрешен» (III, 110) («Ещё не умер ты, ещё ты не один...», 15–16 января 1937) – «И снег хрустит в глазах, как чистый хлеб, безгрешен...» (III, 110) («В лицо мороза я гляжу один...», 16 января 1937).

Каждая из этих цепочек содержит значимые метаморфозы смыслов, иногда близких, иногда

противоположных. Скажем, «приливы и отливы» могут передать общий ритм эмоциональной жизни человека с положительной коннотацией: «Изообразишь и наслажденья их, / И то, что мучит их, – в приливах и отливах» (III, 101) («Не у меня, не у тебя, у них...»). В другом случае это ритм угасающей человечности кумира с явным негативным оттенком, но в то же время с балансированием на грани человеческой и нечеловеческой природы: «И с шеи каплет ожерелий жир, / Оберегая сна приливы и отливы» (III, 101) («Внутри горы бездействует кумир...»). При этом в виде семантического субстрата сохраняется и прямой смысл этой словесной пары, поэтому она коррелирует с «морским»/«океанийским» образным кодом «Второй воронежской тетради», озвучивая естественный ритм природной жизни в его первозаданной и вечной ипостаси. «Морской» код, в свою очередь, вступает в определённые мифопоэтические отношения с «равнинным», «чернозёмным». Здесь, как и в других примерах, остаётся только поставить многоточие, ибо смыслы, высекаемые подобными повторами-отражениями-превращениями, не имеют обозримых границ и требуют специального исследования.

Образно-мотивный комплекс, подразумевающий слепых, ведомых неизвестной силой («как бы слепых везут»), или слепозоводыря (аллюзия на картину Питера Брейгеля Старшего «Притча о слепых»), привносит в «тетрадь» характерный для позднего Мандельштама синтез новозаветной<sup>23</sup> и живописной традиций, спроецированный на судьбу самого поэта и на судьбу страны. В этом синтезе важна исходная притча о слепых, ведомых слепым, и её живописная версия. Живописный и евангельский сюжет получает прямое развитие в стихотворениях «Улыбнись, ягнёнок гневный, с Рафаэлева холста...», «Как светотени мученик Рембрандт...» и далее, уже в «Третьей воронежской тетради» – в «Тайной вечере» («Небо вечера в стену влюбилось...»), в основу которой положена история фрески Леонардо да Винчи. В этой группе текстов иногда значимой для поэта становится судьба картины и судьба художника. Так поэтические сцепления, выраженные повторами слов, словесно-образных комбинаций, распаивают всё новые и новые смысловые горизонты.

Вербальные сигналы как бы прошивают «Вторую воронежскую тетрадь» и её лирические единства, указывая на корневую систему и демонстрируя свой семантический потенциал в разных контекстах. Ядерной циклообразующей силой становится не тема, а именно глубинные творческие феномены ассоциативной природы, коррелирующие с определённым временным отрезком и его духовным содержанием. Ритмико-метрические волны, объединяющие цепочки текстов и естественные для природы циклизации в лирике Мандельштама<sup>24</sup>, возможно, подчиняются трудноуловимым концептуальным скрепам или, по крайней мере, становятся равноценным тексто-



порождающим и циклопорождающим фактором. В целом же трудно с уверенностью утверждать, что генерирует межтекстовые связи в первую очередь – ритм, слово или образ-переживание.

Говорить о композиции циклов и всей «тетради» затруднительно, поскольку существуют различные текстологические решения. Тем не менее, можно констатировать сочетание хронологического принципа, осмысленного в личностном духовно-биографическом ключе, с причудливым разграничением внутри комплекса текстов, которые писались подчас одновременно, в едином порыве. Можно было бы говорить о сочетании симультанности с линейностью, если бы эта условная линейность, т. е. вытянутость текстов во временную линейку, не носила сугубо нелинейного характера.

Ещё один композиционный принцип, рождающийся из органики творческого процесса, а не привнесённый в ворох созданных стихотворений, – это различные отношения родственности и вариативности между текстами, порождающие лирические единства самой различной природы и конфигурации. Тексты сдваиваются, срastaются в более причудливые группы, прорастают друг в друге, взаимно отражаются один в другом, создавая безграничную смысловую перспективу<sup>25</sup>. «Двойняшками» «на одном корню»<sup>26</sup> называла Н. Я. Мандельштам стихотворения «Когда в ветвях понурых...» и «Я около Кольцова...» (оба – 9 января 1937), продолжающие тему поэта-птицы. В первом идёт речь о снегире, переставшем петь и приготовившемся к смерти, во втором – о пленённом и закованном соколе. Вместе с циклом о щегле они развивают орнитологический код «тетради» и вплетаются в некий внутренний сюжет о поэте-птице.

Общий «ген» есть и у стихотворений с разным (противоположным?) смыслом: «Оттого все неудачи...» («Кашей», 29–30 декабря 1937) и «Твой зрачок в небесной корке...» (2 января 1937). Объединены они эпитетом «умоляющий», парадоксально «равняющим» «ростовщичий глаз кошачий» и «омут ока удивлённый» подруги: «И в зрачках тех леденящих, / Умоляющих, просящих, / Шароватых искр пирь» (III, 107) – «Он глядит уже охотно / В мимолётные века – / Светлый, радужный, бесплотный, / Умоляющий пока» (III, 107). Кажется, в этом обидном для Н. Я. Мандельштам сравнении<sup>27</sup> вольно или невольно пульсирует некий нерв «Второй воронежской тетради». Поэта явно завораживает и пугает не только пропасть между инферальным царством и миром света и духовности, но и сам процесс потери человеческой природы, его промежуточные колебания. Стихотворение «Оттого все неудачи...» вроде бы шутивное, вдохновлённое домашним котом, но в контрапункте с сакральным посвящением «блаженной жене», «нищенке-подруге» проступает поединок двух миров: один держится злыми чарами<sup>28</sup>, другой почти дематериализован

(«бесплотный»), ибо устремлён к божественному и небесному и держится в земном настоящем удивлением, мольбой и любовью. Это мир человека, вытесняемого из жизни силой небытия, но увиденного поэтом в измерении вечности. Тяга к спасительному примирению не только с советской действительностью, но и с вождём вступает в конфликт с образом мира как кашеева царства. О. Ронен трактует стихотворение о кашеевом коте парадоксально, усматривая в нём тему поэтического «богатства, потенциально опасного для своего обладателя»<sup>29</sup>, но не принятого теми, для кого оно предназначено. Однако образы инферальной нечисти, обладающей гипнотической силой<sup>30</sup>, в поэзии Мандельштама ассоциируются с несправедным, искажённым порядком жизни, поэтому правы те исследователи, которые соотносят стихотворение о Кашее и его коте со стихами о кумире и вожде<sup>31</sup>.

В метрической волне, охватывающей стихотворения «Ещё не умер ты, ещё ты не один...» (15–16 января 1937), «В лицо мороза я гляжу один...» (16 января 1937), «О, этот медленный, одышливый простор!...» (16 января 1937), «Что делать нам с убитостью равнин...» (16 января 1937), «Не сравнивай: живущий несравним...» (18 января 1937), «Я нынче в паутине световой...» (19 января 1937), «Где связанный и пригвождённый стон?...» (19 января – 4 февраля 1937), выделяется первая пара. В ней наряду с лексическим повтором связующую роль выполняет система рифм. Вторая строфа первого и последняя второго стихотворения выглядят соответственно так: «В роскошной бедности, в могучей *нищете* / Живи спокоен и *утешен*. / Благословенны дни и ночи *те*, / И сладкогласный труд *безгрешен*» (III, 110); «А солнце щурится в крахмальной *нищете* – / Его прищур спокоен и *утешен*... / Десятизначные леса – почти что *те*... / И снег хрустит в глазах, как чистый хлеб, *безгрешен*» (III, 110). На фоне такого сходства бросается в глаза смысловой контраст первых строк стихотворений: «Ещё не умер ты, ещё ты *не один*» – «В лицо мороза я гляжу *один*». Лирический субъект пребывает одновременно в двух измерениях. В одном – он утешен верной нищенкой-подругой, свободой творчества (оплаченной дорогой ценой) и, главное, безгрешностью «сладкогласного труда», который не замутнён конъюнктурными соображениями или даже просто жаждой спасения. В другом – он оказывается один на один с суровым и прекрасным миром, и только этот мир наделён покоем и безгрешностью. Взаимными отражениями двух стихотворений передаётся двойственность духовного самочувствия поэта, червоточина в чувстве поэтической правоты. Впрочем, эта противоречивость есть внутри каждого из стихотворений.

Длинное вступление понадобилось для того, чтобы очертить хотя бы некоторые особенности «Второй воронежской тетради» как лирического единства с множеством несобранных циклов



и вариаций. Начальной частью подвижной структуры «тетради» становится обозначенный Н. Я. Мандельштам цикл из 10 стихотворений, целостность которого проявляется на большой глубине<sup>32</sup>. Н. Я. Мандельштам называла его «цикл “возрастов”, реминисценций и предчувствий»<sup>33</sup> и считала ключевыми для него «Щегла» и «Улыбку»<sup>34</sup>. Увертюрой же к циклу и всему разделу стало стихотворение о «гудке советских городов», заявляющее несколько тем: советского мира в его глубокой связи с национальным прошлым Руси («Гуди, старик, дыши сладко. / Как новгородский гость Садко / Под синим морем глубоко, / Гуди протяжно в глубь веков» (III, 100)), поэтического труда и голоса. Мандельштам с первой же ноты задаёт вертикаль («Под синим морем глубоко») и горизонталь («Из-за домов, из-за лесов, / Длинной товарных поездов» (III, 99)), а также векторы легендарного прошлого и желанного будущего. В этом «узле» уже содержатся некоторые импульсы и образно-тематические пласты «Второй воронежской тетради». Это и порыв к приятию советской жизни, понимаемой как продолжение нетленных ценностей, и разнообразные проявления «многодонной жизни вне закона». Поэтический труд, голос поэта и его судьба, след, оставленный им в жизни страны, – не просто дань классической традиции, а жизненно важная подоплёка всего для Мандельштама. «Возрасты» и «предчувствия», о которых говорит применительно к циклу Н. Я. Мандельштам, находят выражение в «детской» теме (улыбка ребёнка, «птичьи» мотивы, детство «кумира» – «Когда он мальчик был и с ним играл павлин...» (III, 101)) и мотиве окостенения и памятника, соотносённые в первом случае с гибелью человеческой природы, а во втором – с предчувствуемой гибелью поэта («А мастер пушечного цеха, / Кузнечных памятников швец, / Мне скажет – ничего, отец, – / Уж мы сошьём тебе такое...» (III, 103)). Так через весь цикл проходит амбивалентная оппозиция хрупкого живого и монументального неживого, претендующего на бессмертие.

Внутри цикла «возрастов, реминисценций и предчувствий» как раз и расположено изучаемое нами лирическое единство, а именно стихи о щегле, или «щеглиный» цикл, который был частично описан в первой статье. Несколько особняком стоит в нём стихотворение «Когда щегол в воздушной сдобе...» (декабрь 1936), написанное в ином ритмико-метрическом ключе, нежели «Мой щегол, я голову закину...» и его стихотворные спутники:

Когда щегол в воздушной сдобе  
Вдруг затрясётся, сердцевит, –  
Учёный плащик перчит злоба,  
А чепчик – чёрным красовит.

Клевещет жёрдочка и планка,  
Клевещет клетка сотней спиц,

И всё на свете наизнанку,  
И есть лесная Саламанка  
Для непослушных умных птиц! (III, 102–103).

Стихотворение гораздо более ангажированное. Лирический субъект в нём спрятан. В отличие от других стихов «щеглиного» цикла, щегол здесь не является загадочным для лирического «я» носителем безотчётной свободы, он наделён сильной человеческой эмоцией. В основе стихотворения – не краткий миг прикосновения к птичьей жизни, а иносказательная картина состояния мира. Энергичная фоносемантическая игра на небольшом текстовом пространстве (щегол – учёный плащик перчит – чепчик – чёрным; клеветчик клетка) педалирует смысловые связи и эмоциональные коннотации, отражаясь и на лексическом уровне (перчит злоба – клеветчик клетка). Сказано явно не о равнодушной природе, а о двух силах, которые яростно схлестнулись не на жизнь, а на смерть. Вряд ли правомерно трактовать строку «клеветчик клетка сотней спиц» как «”колочую”, “клеветущую” поэтическую правоту»<sup>35</sup>, где эпитет «клеветущий», очевидно, подразумевает точку зрения официальной литературы и органов на опального поэта. Нет, здесь ясно обозначено именно торжество неправды в стране-клетке и в перевернутом наизнанку мире («И всё на свете наизнанку»). Такая обнажённая конфликтность бросает свет и на остальные, более мягкие и элегичные стихи цикла о щегле.

Мандельштам открыто проецирует поэтическое иносказание на свою ситуацию, придавая ей характер общего трагедийного конфликта. Может быть, эта ясность стихотворения и его клокочущая энергия и смутили поэта, включившего текст в основной корпус только в Калинин «при просмотре черновики и составлении списка»<sup>36</sup>. Испанские реалии, по мнению Ирины Месс-Бейер, связаны с двумя поэтами. Один из них, Мигель де Унамун, был ректором университета в Саламанке и в октябре 1936 г. был по декрету Франко смещён со всех должностей за осуждение фашистского мятежа. Другой – Луис де Леон, испанский еврей, профессор Саламанкского университета и поэт XVI в., жертва инквизиции<sup>37</sup>. Если эти догадки справедливы, то «лесная Саламанка для непослушных умных птиц» совмещает в себе значения утопии и ловушки. Ни в каком университетском уединении, ни в какой внутренней эмиграции не скрыться от насилия и лжи. При этом соединение образов щегла и университета, по сути, модифицирует поэтическую характеристику Андрея Белого в поминальных стихах: «сочинитель, щеглёнок, студентик, студент, бубенец» (III, 82).

Более широкий контекст стихов о щегле не в последнюю очередь связан с временем года, когда рождалась «Вторая воронежская тетрадь». Это зимняя книга. Зима становится одной из центральных тем «Второй воронежской тетради», сплавливая реальное время творческого и жизненного опыта



с многослойной семантикой холода. Дыхание зимы впервые ощущается именно в стихах о щегле: «*Зимний день, колючий, как мякина, / Так ли жёстк в зрачке твоём?*» (III, 102). В первом катрене в одно поле попадают зима и мякина, объединённые признаками колючести и жёсткости и перекликающиеся по разным семантическим признакам с более поздними стихами «тетради». Холод напоминает о жизни беспощадной и максимально суровой, но величественной: «*Ты наслаждаешься величием равнин / И мглой, и холодом, и вьюгой*» (III, 110) («Ещё не умер ты, ещё ты не один...»); «*В лицо мороза я гляжу один, / Он – никуда, я – ниоткуда, / И всё утجوится, плоится без морщин / Равнины дышащее чудо*» (III, 110). Образы холода и снега – спутники темы русской гибели: «*И в яму, в бородавчатую темь / Скольжу к обледенелой водокачке / И, спотыкаясь, мёртвый воздух ем, / И разбегаются грачи в горячке – // А я за ними ахаю, крича / В какой-то мёрзлый деревянный короб: / – Читателя! Советчика! Врача! / На лестнице колючей разговора б!*» (III, 119) («Куда мне деться в этом январе?», 1 февраля 1937). Мандельштам модифицирует свой давний мотив «звёздной колючей неправды» (II, 56). Вместе с тем «зимняя» образность аккомпанирует пространству чернозёмной глубинки. Зима вдохновляет поэта на «пушкинские» реминисценции, образы русского мира, иногда близкие к фольклорной традиции, и сакральные символы: «*И мальчик, красный как фонарик, / Своих салазок госуларик / И заправила, мчитя вплавь*» (III, 117) («Люблю морозное дыханье...»); «*Въехал ночью в рукавичный, / Снегом пышущий Тамбов, / Видел Цны – реки обычной – / Белый-белый бел-покров*» (III, 105) («Эта область в темноводье...»); «*И снег хрустит в глазах, как чистый хлеб, безгрешен*» (III, 110) («В лицо мороза я гляжу один...»). Последняя строка – антитеза строки из «Щегла»: «*Зимний день, колючий, как мякина, / Так ли жёстк в зрачке твоём?*». Контрастные признаки зимы/снега: жёсткость/колючесть – чистота/безгрешность. Такой же антитезой становится пара «*мякина – чистый хлеб*». Мандельштам открыто возвращается к евангельской хлебной символике, которой отдал щедрую дань в 1920-е гг.<sup>38</sup>

Образ мякины Н. Я. Мандельштам считала циклообразующим для всего комплекса стихов о щегле<sup>39</sup>. В смысловом узоре приведённого стиха о мякине небеследно растворяется и пословицная коннотация («стреляного воробья на мякине не проведёшь»), акцентируя семантику обмана, подмены истины ложными ценностями, шелухой, суррогатом. Мандельштам варьирует этот мотив в другой редакции стихотворения: «*Детский рот жуёт свою мякину*». Это чрезвычайно важная тема «Второй воронежской тетради», проступившая и в образе сбитой оси: «*Скучно мне: моё прямое / Дело тараторит вкось – / По нему прошлось другое, / Надсмеялось, сбило ось*» (III, 110). В какой-то мере контрапункт

«*мякина – чистый хлеб*» коррелирует с образом доброго семени и плевел евангельской притчи (Мф. 13: 24–30).

Возможно, мякина ассоциируется и с «несладким хлебом» изгнания в стихотворении, соединяющим «дантовский» и «петербургский» код: «*Или тень баклуши бьёт / И позёвывает с вами, / Иль шумит среди людей, / Гремя их вином и небом, / И несладким кормит хлебом / Неотвязных лебедей*» (III, 116) («Слышу, слышу ранний лёд...», 22 января 1937). Одновременно «мякина» встраивается в широкое смысловое поле, включающее в себя образы земли, чернозёма, плуга, жатвы, косьбы.

Итак, стихи о щегле представляют собой несобранный цикл о непокорной птице и одновременно о поэте. При рассмотрении циклических связей, восстанавливаемых, в частности, благодаря анализу черновика ранней редакции стихотворения «*Мой щегол, я голову закину...*», проступают сознательно отброшенные поэтом христианские аллюзии, метафоры гибели поэта на снегу, трагизм противостояния поэта и режима лжи и насилия. «Щеглиный» цикл, в свою очередь, встраивается в более обширный начальный цикл «Второй воронежской тетради», который во многом строится на многозначном контрапункте естественной хрупкой жизни природы/культуры и, с другой стороны, монументального небытия, потерявшего «свой облик человеческого». Стихи о щегле теснейшим образом связаны и с другими текстами и циклами «Второй воронежской тетради», например, через темы приятия мира и необходимой/неизбежной жертвы. В определённой степени этот цикл бросает свет и на так называемую «Оду» о Сталине, создавая такой запас внутренней свободы, который исключает безоговорочное примирение с режимом и вождём. В этой статье обозначены лишь некоторые проявления органической целостности и естественной иерархии в структуре «Второй воронежской тетради», включающей множество лирических единств разной конфигурации.

#### Примечания

- <sup>1</sup> См.: РГАЛИ. Ф. 1893 (О. Э. Мандельштам). Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 7–7 об.
- <sup>2</sup> Baines J. Mandelstam : The Later Poetry. L. ; N.Y. ; Melbourne, 1976. P. 145.
- <sup>3</sup> Так М. Л. Гаспаров называет метрическое сопровождение «Оды» (См.: Гаспаров М. «Ода» Сталину и её метрическое сопровождение // Гаспаров М. Гражданская лирика Мандельштама 1937 года. М., 1996. С. 78–112). Назовём наиболее важные из стихотворений этого «цикла»: «Ещё не умер ты, ещё ты не один...», «В лицо мороза я гляжу один...», «О, этот медленный, одышливый простор...», «Что делать нам с убитостью равнин?..», «Не сравнивай: живущий несравним...», «Где связанный и пригвождённый стон?..», «Куда мне деться в этом январе?..», «Обороняет сон мою донскую



- сонь...», «Как светотени мученик Рембрандт...», «Пою, когда гортань сыра, душа – суха...», «Вооружённый зреньем узких ос...», «Как дерево и медь – Фаворского полёт...», «Я в львиный ров и в крепость погружён...». Даже беглый взгляд на эту группу стихов подсказывает, что у них разные отношения с «Одой».
- <sup>4</sup> Мандельштам Н. Собр. соч. : в 2 т. Т. 1. Екатеринбург, 2014. С. 288.
- <sup>5</sup> Там же.
- <sup>6</sup> См.: Лекманов О. Сталинская «ода». Стихотворение Мандельштама «Когда б я уголь взял для высшей похвалы...» на фоне поэтической сталинианы 1937 года // Новый мир. 2015. № 3. С. 171–186.
- <sup>7</sup> Здесь и далее тексты Мандельштама цит. по: Мандельштам О. Собр. соч. : в 4 т. / сост. А. Никитаева и П. Нерлера. М., 1993–1997, с указанием в скобках тома римской цифрой и страницы – арабской. Курсив везде наш. – Б. М.
- <sup>8</sup> См. сравнение стихотворения «Внутри горы бездействует кумир...» и «Оды» : Мейлах М. «Внутри горы бездействует кумир...». К сталинской теме в поэзии Мандельштама // Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама : Воспоминания. Материалы к биографии. «Новые стихи». Комментарии. Исследования. Воронеж, 1990. С. 421.
- <sup>9</sup> См.: Мандельштам Н. Указ. соч. Т. 1. С. 287–292.
- <sup>10</sup> Гаспаров М. Гражданская лирика Мандельштама 1937 года. С. 89.
- <sup>11</sup> См.: Чернов А. Ода рябому черту. Тайнопись в «покажанных» стихах Осипа Мандельштама // Чернов А. Хроники изнаночного времени. «Слово о полку Игореве» : текст и его окрестности. СПб., 2006. С. 361–388.
- <sup>12</sup> См.: Фролов И. Откровение Мандельштама // Бельские просторы. 2004. № 12 (73) Декабрь. С. 115–135.
- <sup>13</sup> См.: Глазова Е., Глазова М. Подсказано Дантом. О поэтике и поэзии Мандельштама. Киев, 2011. С. 456.
- <sup>14</sup> В частности, подразумевается вариация оппозиции «отец – сын» в притче о блудном сыне (См.: Кацис Л. Осип Мандельштам : Мускус иудейства. Иерусалим ; М., 2002. С. 137–141).
- <sup>15</sup> См.: Freidin G. Mandelstam's Ode to Stalin : history and myth // Russian Review. 1982. Vol. 41. P. 400–426.
- <sup>16</sup> См.: Глазова Е., Глазова М. Указ. соч. С. 457.
- <sup>17</sup> См.: Кацис Л. Поэт и палач : опыт прочтения сталинских стихов // Лит. обозрение. 1991. № 1. С. 46–54 ; Глазова Е., Глазова М. Указ. соч. С. 453–459.
- <sup>18</sup> См.: Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 1998. С. 33.
- <sup>19</sup> См.: Мец А. Осип Мандельштам и его время. Анализ текстов. СПб., 2005. С. 190.
- <sup>20</sup> Рогинский Я. Встречи в Воронеже // Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама... С. 43.
- <sup>21</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. : в 10 т. Т. IV. Л., 1977. С. 286.
- <sup>22</sup> «Улитки рта» в «Рождении улыбки» и «улитки губ людских» в стихотворении «Не у меня, не у тебя, у них...» ; «ягнёнок гневный» в черновике «Рождения улыбки» и в стихотворении «Улыбнись, ягнёнок гневный», с Рафаэлева холста...» и др.
- <sup>23</sup> «Оставьте их, они – слепые вожди слепых ; а если слепой ведёт слепого, то оба упадут в яму» (Мф. 15:14).
- <sup>24</sup> См.: Гаспаров М. «Ода» Сталину и её метрическое сопровождение. С. 78–112 ; Нерлер П. Метрические волны и композиционные принципы позднего Мандельштама // Нерлер П. Conamore. Этюды о Мандельштаме. М., 2014. С. 131–159.
- <sup>25</sup> Н. Я. Мандельштам использует разные термины и метафоры для передачи этих отношений между лирическими текстами: двойняшки, двойники, двойчатки, тройчатки, побег на одном корню, темы с вариациями. Чтобы упорядочить терминологический аппарат, мы будем называть двойчатками только те двухчастные циклические структуры, которые имеют общий стихотворный период, а не отдельное слово или комбинацию слов. К такому как раз можно отнести стихотворную пару «Второй воронежской тетради» «Мой щегол, я голову закину...» и «Детский рот жуёт свою мякину...», с оговоркой, что второе стихотворение включается не во все издания и его статус неясен. Наиболее точно было бы использовать для определения родственных стихов, разошедшихся в поздней версии, метафору Н. Я. Мандельштам «побеги на одном корню». Она указывает на происхождение, в результате же получается тема с вариациями. К такому относятся стихотворения «Дрожжи мира дорогие...» и «Влез бесёнок в мокрой шёрстке...», объединённые развёрнутой метафорой следов/вмятин (в черновых и окончательных редакциях) и целыми строфами (в черновой редакции) (См.: Мандельштам Н. Указ. соч. Т. 2. С. 786–787). Объединяет Н. Я. Мандельштам и следующие три стихотворения: «Эта область в темноводье...», «Вехи дальние обознача...» и «Как подарок запоздалый...» (Там же. С. 779–784). К этой группе стихов, в свою очередь, примыкают её метрические спутники: «Оттого все неудачи...», «Твой зрачок в небесной корке...», «Улыбнись, ягнёнок гневный...».
- <sup>26</sup> Мандельштам Н. Указ. соч. Т. 2. С. 785.
- <sup>27</sup> Там же. С. 784.
- <sup>28</sup> Явная переключка со стихотворением «Внутри горы бездействует кумир...». Объединяют их мотивы заколдованной горы, магических покоев. Мотив горы, в свою очередь, ведёт к зловещей строке «Оды»: «Глазами Сталина раздвинута гора...» (III, 114).
- <sup>29</sup> Ronen O. Mandel'stam's Кащей // Studies presented to professor Roman Jakobson by students. Cambridge, Mass : Slavica Publishers, 1968. P. 255.
- <sup>30</sup> Возможно, Кащеев кот ассоциируется с Котом-баюном, обитающим в тридесятном царстве и наводящим на противников дремоту своими историями (См.: Королёв К. Энциклопедия сверхъестественных существ. Иллюстрированный путеводитель по мифам, преданиям и сказкам. М. ; СПб., 2005. С. 583–584).
- <sup>31</sup> См., например: Baines J. Op. cit. P. 170–173.
- <sup>32</sup> «Из-за домов, из-за лесов...», «Рождение улыбки», «Детский рот жуёт свою мякину...», «Мой щегол, я голову закину...», «Когда щегол в воздушной сдобе...», «Нынче день какой-то желторотый...», «Я в сердце века, путь неясен...», «Не у меня, не у тебя – у них...», «Внутри горы бездействует кумир...», «А мастер пушечного цеха...».



<sup>33</sup> Мандельштам Н. Указ. соч. Т. 2. С. 778.

<sup>34</sup> Там же. С. 773. Имеются в виду стихотворения «Мой щегол, я голову закину...» и «Рождение улыбки».

<sup>35</sup> Глазова Е., Глазова М. Указ. соч. С. 476.

<sup>36</sup> Мандельштам Н. Указ. соч. Т. 2. С. 774.

<sup>37</sup> См.: Месс-Бейер И. Эзопов язык в поэзии Мандельштама 30-х годов // Russian Literature. 1991. Vol. 29, iss. 3 (April 1). P. 365. В. В. Мусатов оспаривает присут-

ствие в подтексте мысли о судьбе Мигеля де Унамуно (См.: Мусатов В. Лирика Мандельштама. Киев, 2000. С. 478).

<sup>38</sup> См. об этом: Тоддес Е. Статья «Пшеница человеческая» в творчестве Мандельштама начала 20-х годов // Тыняновский сборник : Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 184–217.

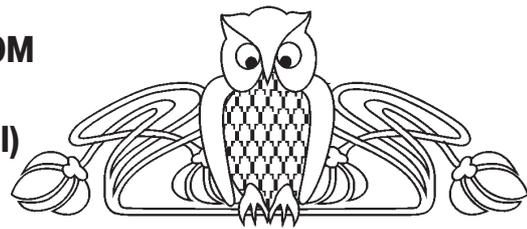
<sup>39</sup> См.: Мандельштам Н. Указ. соч. Т. 2. С. 773.

**Образец для цитирования:**

Минц Б. А. Стихи о щегле и их место во «Второй воронежской тетради» Мандельштама. Статья вторая // Изв. Саратов. ун-та. Нов. сер. Сер. Филология. Журналистика. 2016. Т. 16, вып. 4. С. 421–428. DOI: 10.18500/1817-7115-2016-16-4-421-428.

УДК 821.161.1.09-3+929[Солженицын+Аксёнов]

**АНАТОМИЯ «СОВЕТСКОГО» В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ КОНЦА XX – XXI ВЕКОВ:  
А. И. СОЛЖЕНИЦЫН И В. П. АКСЁНОВ (Часть I)**



**А. А. Суворов**

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского  
E-mail: suvorov@list.ru

Первая часть публикации посвящена постановке и обоснованию самой литературоведческой задачи – параллельного анализа произведений двух значимых для русского литературного процесса писателей, а также обозначению магистральных направлений предпринимаемого филологического разбора. Материалом послужили тексты Солженицына и Аксёнова, созданные и опубликованные на рубеже XX–XXI вв., а ключевым аспектом исследования стал мотивно-тематический комплекс, объединяющий интересы двух литераторов (именуемый художественной реальностью «советского»).

**Ключевые слова:** русский литературный процесс, советское, А. И. Солженицын, В. П. Аксёнов, проблема читателя, автор.

**The Anatomy of the ‘Soviet’ in the Literary Process of the Turn of the XX–XXI<sup>st</sup> Century: A. I. Solzhenitsyn and V. P. Aksyonov (Part I)**

**A. Suvorov**

The first part of the article deals with the definition and substantiation of the literary criticism task itself – a parallel analysis of the works of two significant writers in the Russian literary process. Another object is to identify the major perspectives of the philological examination in progress. The subject of this research is the texts by A. I. Solzhenitsyn and V. P. Aksyonov, written and published at the turn of the XX–XXI centuries. This research focuses on the motive and theme complex that encompasses the interests of two writers (called the creative reality of the ‘Soviet’).

**Key words:** Russian literary process, Soviet, A. I. Solzhenitsyn, V. P. Aksyonov, problem of the reader, author.

DOI: 10.18500/1817-7115-2016-16-4-428-438

Конец XX – начало XXI вв. в русской литературе и – шире – в общественной жизни можно

назвать периодом множественных открытий. Вместе с социальными и политическими реформами, последовавшими за перестройкой и распадом Советского Союза, развиваются новые явления словесности – теперь свободной от государственной цензуры<sup>1</sup>. Такие словесные номинации, как «самиздат», «иммигрантская литература» и «литература запрещённая», из категории опасных для произносящего становятся предметом открытых дискуссий, а также входят в круг официальных интересов филологии. Появление многочисленных новых и возвращение «запрещённых» имён происходят на фоне развития и тех магистральных тенденций, которые определили «облик» двадцатого столетия в истории русскоязычного художественного творчества.

Одним из важнейших событий финального десятилетия XX в. в жизни всей страны становится возвращение на родину Александра Исаевича Солженицына в мае 1994 г. Эпоха, ассоциирующаяся в сознании большой читательской аудитории с этим именем, продолжается и после смерти писателя (2008 г.), до последних дней занимавшегося активной подготовкой к печати своих произведений и общественной деятельностью. Предпринимаемое нами исследование проблемы читателя и русского литературного процесса рубежа XX и XXI вв. было бы невозможным без обращения к творчеству Солженицына, а точнее, к тем его произведениям, которые были написаны и опубликованы в 1990-х и 2000-х гг. «Эпоха Солженицына» – по объёму смыслов это понятие выходит за пределы творчества самого писателя, шире оно и терминологических сочетаний «лагерная литература» и «русская литературная иммиграция XX века». Семантический состав названного понятия (эпоха Солженицына) также включает